

Несмотря на то что «Леви-Строс постоянно настаивает на одном положении своей методологии: структуры не носят сознательного характера» (140), он не замечает, что его собственная структурная антропология тоже носит бессознательный характер. Он формулирует практически перевертыш лакановского тезиса, что «бессознательное задано как структура», но для Леви-Стросса отношения антрополога и аборигена остаются неким слепым пятном (которое он пытается прикрыть христианской просвирой), и, к сожалению, он не озадачивается поиском механизма проработки этого трансфера, анализа этого самого предполагаемого знания (*savoir supposé*) и его функций, ради которого полевое исследование и совершается. Само ожидание антрополога, его запрос уже являются свидетельством его «бессознательного как медиатора между я и другим»²⁰, между ученым и тем, кто послал его в печальные бразильские тропики. Вопрос о бессознательной связи знания и желания другого, несомненно, должен быть в центре научного интереса.

Антропология избегает действительно сложного этического вопроса о том, как относиться к тому, с кем не имеешь ничего общего? К радикально другому, который не разделяет твоей «общечеловеческой субстанции», с которым вас не связывают никакие узы родства, разума или духа? «Человек человеку — никто» — такой фундамент принять намного сложнее, особенно потому, что на нем не может возникнуть никакая метафизическая

конструкция. Но только на этой почве возможно поставить и укоренить предельно острый этический вопрос: как обращаться с «ником»? Конечно, этот вопрос выходит далеко за пределы науки и касается он разных «других» (например, сумасшедших, инвалидов, преступников, еще не рожденных детей или безнадежно больных стариков, много лет пребывающих в коме, тех, то не является субъектами права, разума или *cogito*), но именно этот вопрос мог бы стать фундаментальным для современной антропологии; задавая именно его, она могла бы претендовать на статус «науки о человеческих отношениях».

Антропология могла бы преодолеть метафизику, если бы у нее получилось сохранить это пустое место, недосказанность и неполноту, тающуюся на стороне другого, вместо того чтобы заполнять ее зеркальными проекциями, наивно полагая, что все люди примерно похожи на тебя самого (как будто ты хорошо себя знаешь), или высокомерной риторикой о необходимости защиты малых культур. Не вписывать другого в свою систему координат, в свое ожидание, а признать за ним ту «пустую форму, которая предполагает структурные законы»²¹, которую он и называет бессознательным, и сохранить за другим право на инаковость во всем — это и значит признать равноправие и нравственное отношение к другому.

Можно предположить, что любой человек (любой культуры) укоренен в реальное и опосредует эти отношения посредством символического: то, что имеет отношение к смерти и рождению, отношению между полами, всегда является про-

дуктом некоторой символической матрицы, и можно сказать, что ее наличие отличает людей от животных, которые не хоронят и не оплакивают своих умерших, но это предположение или проекция уже должны быть предметом анализа. Каждый человек является субъектом той или иной структуры (что, однако, не исключает того факта, что далеко не все в нем подчиняется ее логике, а также что структура отличается внутренней непротиворечивостью и логической верностью). Поэтому утверждать, что в человеческой душе наличествует структура, — это трюизм, но говорить, что все в человеке структурировано, — абсурдно.

Книга Марселя Энаффа мало похожа на энциклопедию, словарь или историческое исследование, перед ним вообще не стояло задачи составить поминальник всех работ Леви-Стросса, потому и обзор произведений классика занимает лишь четвертую часть общего объема работы и выглядит, скорее, как приложение. Очевидно, Энаффа больше занимает история идей и становление концепций, поэтому он занят не только «Структурной антропологией» Леви-Стросса и не только структурализмом, а, подобно сво-

ему герою, преследует более амбициозные цели: «необходимость переосмыслить наследие», как сам автор озаглавил предисловие книги, задать вопрос о существовании научной концепции во времени. Что значит «изжить себя» или «исчерпать себя» применительно к теории? Как продолжает существовать концепция, когда она перестает производить научные проблемы? Наконец, какие механизмы временной сборки человека, ученого создает антропология? В контексте такой стратегии главы о «тунике импрессионизма и ложных обещаниях кубизма», «об эстетическом переживании», «пролегоменах к этике животного» или пространственные рассуждения о судьбе романа от Бальзака до Пруста не выглядят такими уж далекими от темы; постфактум все эти отступления говорят об антропологии больше, ставят антропологические вопросы яснее, чем могла бы сделать академическая монография с безжизненно-нейтральным названием «Клод Леви-Строс и структурная антропология». Не только ставить вопросы об антропологии, но и ставить вопросы антропологически — такова логика работы Марселя Энаффа.

Дмитрий Ольшанский

ГАДКИЕ ФАШИСТСКИЕ МЕНТЫ

Дмитрий Жуков, Иван Ковтун. Русская полиция.
М.: Вече, 2010. — 299 с.

Однажды в юные годы, осматривая экспозицию одного провинциального краеведческого музея, я наткнулся на любопытный экспонат. Это была небольшая бумажка, рас-

пространявшаяся на оккупированных немцами территориях СССР, — листовка, составленная оккупационной администрацией на русском, разумеется, языке. Текст ее был кра-

20. Он же. Предисловие к трудам Марселя Мосса // Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. С. 442.

21. Он же. Структурная антропология. С. 181.

ток: говорилось о том, что крестьянам не следует производить самопроизвольный раздел колхозных земель, а стоит дожидаться на этот счет распоряжений администрации, которая в скором времени и станет проводить данную работу. Надо сказать, что на меня эти несколько сотен буковок произвели мощное впечатление. Помимо естественных ассоциаций с перипетиями отмены крепостного права в России XIX века и революциями 1917 года в голове тотчас же возник рой вопросов.

В самом деле: что мы знаем про жизнь миллионов наших соотечественников на оккупированных территориях? Какие сведения становились достоянием широкой публики помимо изрядно препарированной информации об участии этих жителей в партизанском движении? А ведь для них это был отнюдь не мимолетный эпизод — скорее, заметный кусок жизни, порой растянутый на три без малого года. Все это время людям надо было что-то есть, значит, работать — где-то работать в городах и как-то работать на селе. Детям нужно было ходить в школу, больницы должны были функционировать. Или не должны? Электричество все-таки бежало по проводам или, быть может, не бежало? Какие деньги были в обращении — советские или рейхсмарки? Как это выглядело на практике?

Ни о чем этом я, как и большинство вокруг меня, не имел ни малейшего понятия. Единственное, пожалуй, что я мог предположить с высокой вероятностью, так это то, что и в научной среде на данную тему не имеется золотых залежей по вполне понятным причинам. При всем нашем вопиющем дефиците знания и, главное, по-

нимания происходившего в СССР в годы войны знание и понимание жизни оккупированных территорий, если можно так сказать, дефицитно в квадрате.

Стоит отметить, что интерес к этому аспекту истории Великой Отечественной войны не есть простое любопытство, рутинная попытка заполнить очередной пробел. Дело в том, что специфический опыт жизни «вне советской власти», если отвлечься от непосредственных вопросов борьбы с врагом, есть в какой-то степени прообраз того, что произошло много позднее, когда эта же советская власть скончалась сама, от старческого бессилия, а подсоветские люди оказались в значительной мере предоставленными самим себе: в условиях рыночной — худо-бедно — экономики и отсутствия идеологического морока, так или иначе создающего иллюзию стройности и осмысленности существования. Кроме того, поскольку партия — коллективный организатор — исчезла с первыми рядами эвакуируемых на Восток, а администрация оккупантов при всем желании не в силах была сравниться по тотальности и всеохватности со своей предшественницей, люди просто вынуждены были как-то самоорганизовываться, выдвигать из своих рядов разного рода лидеров, налаживать заново связи: «Зачастую население по собственной инициативе сразу же после бегства представителей советской власти, но еще до прихода оккупантов создавало милицейские подразделения для обеспечения охраны порядка. Некоторые из этих формирований «самообороны» после прихода немцев были санкционированы военной администрацией, а некоторые были распущены» (21).

И вот вниманию интересующихся стали одна за одной предлагаться серьезные и качественные работы об этом интересном периоде отечественной истории. После исследований гражданской администрации оккупированных территорий²² настал черед другой подсистемы того специфического социума — полиции общественного порядка, которой и посвящена книга Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна. Но прежде чем начать ее разбор, позволим себе два замечания, так сказать, общего характера. Во-первых, *Великая Отечественная война, похоже, все-таки завершилась даже для нас*. Иначе говоря, появление подобных книг говорит о том, что, не предавая имеющихся у каждого оценок добра и зла, мы все же можем теперь рассматривать предмет без того, чтобы мысленно отождествлять себя с действующими лицами, то есть рассматривать беспристрастно, по-настоящему аналитически, понимая, что люди есть люди — никогда не ангелы и редко, очень редко исчадия ада. Что игра обстоятельств порой ставила их в ситуации выбора, которые мы не можем, даже вконец изнасиловав воображение, и близко примерить на себя, а потому судить этих людей сегодня нужно крайне осторожно, а по возможности избегать этого занятия вовсе. А вот попробовать понять их мы можем и, в общем, даже должны, если, конечно, хотим, чтобы потом кто-то попытался понять и нас. Война закончилась. И это — хорошо. Ибо, лишь закончив войну, можно по-настоящему присвоить

полученный в ее ходе опыт. А подобный опыт порой может оказаться более чем неожиданным.

Второе же замечание касается традиции нашего специфического отношения к предмету авторского исследования как таковому, то есть к полиции. Со времен Российской Империи мы не умом, так сердцем привыкли считать полицию как бы лицом политического режима, обращенным к нам, населению. Дурным лицом, ибо и политический режим дурен. И чаемую смену политического режима воображаем почему-то как первоочередное уничтожение служащей ему полиции. Мы даже имеем по этой части чудесный опыт: восставшие в феврале 1917 года жители Петрограда первым делом перебили городских, как воробьев в Китае, а затем столь же радикально ликвидировали и остальные полицейские учреждения совокупно с их персоналом. Результат подобного народного волеизъявления дал о себе знать буквально на следующий день: уголовная преступность взмыла экспоненциально и оставалась на рекордном уровне долгие годы, невзирая на усилия созданной новой властью милиции и резкое ужесточение карательных санкций²³. Говоря иначе, мы как-то гоним от себя мысль о том, что при любом режиме имеющаяся по факту полиция — это единственное, что защищает нас от угрозы получить среди белого дня удар заточкой в печень. Хорошо защищает, плохо ли, но другой сопоставимой защиты у нас, увы, нет. Ну, а теперь — к делу.

Итак, взяв под свой контроль в 1941–1942 годах огромные террито-

22. См., в частности: Ермолов И. Г. Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и большевиками. 1941–1944. М.: Центрполиграф, 2010.

23. См.: Мусаев В. И. Преступность в Петрограде в 1917–1921 годах и борьба с ней. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.

рии советского государства с многомиллионным населением, гитлеровская Германия вынуждена была организовывать на ней управление гражданской жизнью. Территория была поделена на несколько зон в зависимости от близости к линии фронта. Верховная оккупационная власть отдавалась военным структурам разной степени «тыловости», а в самых удаленных от фронта местах — даже гражданской оккупационной администрации. Это, однако, не имеет существенного значения — в любом случае немцы вынуждены были создавать на низовом уровне местные администрации и при них — вспомогательную полицию: и то и другое — из представителей местного населения. Авторы указывают на специфический в сравнении с другими захваченными странами опыт, приобретенный здесь немцами: во Франции, Нидерландах, Чехословакии и прочих оккупированных государствах в кадровом да и в организационном отношении старая полиция была в основном сохранена, и тем самым удалось обеспечить непрерывность в охране общественного порядка. В СССР этого не произошло, и полицию пришлось формировать во всех отношениях «с нуля».

Авторы объясняют это в первую очередь тем обстоятельством, что советская милиция (как, впрочем, и соответствующие ей органы в самой Германии) являлась исключительно политизированным, а потому непригодным для функционирования в иной политической системе образованием. Да и немцы большей частью не допускали на службу в своих структурах членов партии и комсомола, каковых в советской милиции было, вероятно, большинство. Представля-

ется все же, что первостепенная причина состоит не в политизированности все же, а, скорее, в военизированной советской милиции. По мере приближения линии фронта милиционеров просто переводили в состав боевых частей, вместе с которыми они отступали на Восток и продолжали войну. Таким образом, новая администрация получала в наследство от прежних органов внутренних дел лишь пустующие помещения: ни людей, ни баз данных. И в этих условиях начинала осуществлять свои функции. Впрочем, бывали — и не редко — интересные исключения, позволявшие сохранить кадровую преемственность органов правопорядка: «Уже 2 июля 1941 года, на третий день после оккупации Львова, большинство милиционеров, оставшихся в городе, выразили готовность продолжить службу при новом режиме».

В голову сразу приходит западноукраинский национализм, но совсем не так: «В ст. Северская (Краснодарский край) создана полиция из местного населения, в состав которой вошли бывшие работники Северского районного отдела НКВД Матюшков Петр Моисеевич (бывший заместитель начальника РО НКВД) и Васильев Григорий Михайлович (бывший участковый уполномоченный)»; «шесть бывших сотрудников НКВД несли полицейскую службу в селе Данино, под Ельней»; «в г. Россоши выявлено 53 члена ВКП(б), которые в своих биографиях, представленных полиции...» и т. д.

Вспомогательная полиция в основном комплектовалась обычными людьми, пришедшими служить по самым разным причинам: ради гарантированного пайка, дабы избежать угона на работы в Герма-

нию, из идейной ненависти к большевикам, наконец, из жажды незаконного обогащения — какая же полиция без подобных перспектив! Важным источником кадрового пополнения полиции стали лагеря военнопленных — там довольно активно велась вербовка, и была она, понятно, успешнее, чем на свободе, ибо контраст между статусом узника концлагеря и полицейского соблазнительно велик²⁴. Авторы рецензируемой книги приводят ряд интересных биографий, иллюстрирующих подобный рекрутинг: «Любопытную историю авторам рассказал житель Белгородской области Борис Черных. В Алексеевском районе, где в период оккупации жили его родственники, шла активная вербовка в полицию. В одном селе по приказу старосты собрали молодежь для отправки в Германию. Перед тем как направить колонну мобилизованных на железнодорожную станцию, староста спросил, нет ли тех, кто желает служить в полиции. Из строя вышел юноша 17 лет. В течение часа он заполнил все документы, получил белую повязку, винтовку, паек и вечером вернулся домой. Дома его встретили мать, отец и дед. Узнав, каким образом он заплатил за свободу, отец, воевавший в годы Гражданской войны в Красной армии, достал нагайку и высек сына. На следующий день, отойдя от побоев, паренек убежал в лес, откуда по ночам возвращался в деревню, чтобы попросить у соседей хле-

ба и молока. Месяц спустя его задержала партизанская разведка. Юноша рассказал свою историю командиру отряда, и его после проверки зачислили в ряды народных мстителей. После освобождения Белгородской области отряд проверяли органы госбезопасности СССР. Допросив парня, чекисты отдали приказ о его аресте. За измену Родине (а вернее, за попытку измены) молодой партизан получил 10 лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовом лагере. Из лагеря он не вернулся, жизнью заплатив за сутки, проведенные в полиции».

Или, скажем, примеры такого жребия: «...показательна судьба жителя Ржева Дмитрия Пояркова. Он ушел на фронт, 13 октября 1941 года попал в плен, после чего содержался в Ржевском лагере военнопленных. Его жена, узнав от знакомых, что ее муж находится в лагере, подала на имя бургомистра Ржева заявление. 10 ноября 1941 года Поярков в числе других 18 человек был взят на поруки. 4 декабря 1941 года его назначили квартальным старостой. 18 декабря 1941 года Поярков стал полицейским 3-го участка»; «...характерен случай, произошедший с бывшим старшим лейтенантом РККА Василием Таракановым, в последующем командиром роты полиции в составе „особого подразделения по борьбе с бандитизмом“ („группа Шмидта“). Тараканов воевал на Калининском фронте, во время одного из боев был ранен и попал в плен. В течение двух месяцев он находился в одном из лагерей для пленных офицеров в Смоленской области. Там Тараканова заметили вербовщики. С разрешения коменданта лагеря они отвезли пленного в немецкий военный городок, где изысканно накормили и уложи-

24. «Уже летом 1941 года из плена были выпущены сотни тысяч красноармейцев, некоторые из которых согласились поступить в службу порядка. Начальники... комендатур нередко давали указания бургомистрам о наборе полицейских из числа военнопленных».

ли спать в чистую постель. Утром все повторилось, а вечером предложили выбирать: „или служить Великой Германии, или снова отправиться в лагерь“. Тараканов принял первое предложение».

Но вот кого вопреки советской пропаганде в личном составе вспомогательной полиции на самом деле почти не было — так это «уголовных элементов»: принципиальные установки на недопуск таковых в штат и сама процедура принятия на службу в совокупности служили вполне сносным в этом отношении фильтром, что, однако, не помешало значительному числу полицейских насвершать затем такого, на что не всякий отпетый профессиональный уголовник пошел бы. Вот один из самых вегетарианских и странных тому примеров: «...ржевская полиция просуществовала до начала января 1942 года, когда оккупанты из-за контрнаступления советских войск были вынуждены на несколько суток оставить город. Этим обстоятельством воспользовались немецкие ставленники: бургомистр Сафронов, его заместитель Дунаев, начальник полиции Лапин и секретарь паспортного стола Попелов. Они похитили из кассы городской управы деньги (1 млн 400 тыс. рублей), собранные с населения для восстановления хозяйства города, и бежали в тыл немецкой армии. После возвращения оккупантов Сафронов и его сообщники были объявлены в розыск, а весной 1942 года опознаны в Минске и арестованы. Как ни странно, Дунаев после возмещения ущерба был назначен заместителем начальника полиции во вновь организованной городской управе. Повезло и бывшему начальнику полиции Лапину — после кратковременного нахождения

в лагере СД-17 он был освобожден и назначен рядовым полицейским в г. Сычевка. Что касается бургомистра Сафронова, то он был расстрелян командой СД в мае 1942 года».

Но все-таки при анализе важно уметь отделять политическую преступность от уголовной, тем более что авторы книги указывают на любопытный факт: в 1939 году на занятых Советской армией польских территориях во вновь создаваемые органы управления, включая полицию, было принято на службу как раз довольно значительное число уголовных элементов. Чем же занималась эта полиция? Согласно приказу Гальдера № 8000/42, она должна была «после удовлетворения жизненно важных потребностей вермахта» осуществлять «всеобщую поддержку хозяйства оккупированных областей». То есть обычные полицейские функции «мирного времени» обладали наименьшим приоритетом в сравнении с функциями военно-политическими: борьбой с партизанами и подавлением иных форм сопротивления оккупантам. О том, как эти главные функции реализовывались полицией, мы, в общем, читали и слышали раньше — книга Жукова и Ковтуна, добавляя сведений на этот счет, в целом не меняет привычной картины, хотя и проговаривает некоторые акценты, достаточно естественные и не слишком популярные для нашего традиционного дискурса о войне. Так, обращается внимание на то, что именно полицейские формирования — как полиция городов и сел, так и специальные полицейские батальоны — были основным и наиболее действенным средством борьбы с партизанами. Никаким немцам не было под силу самим выявлять партизан, предуга-

дывать их действия, разрушать партизанскую инфраструктуру с такой эффективностью. Притом что силы эти, исчислявшиеся по всей оккупированной зоне пятизначными цифрами представителей личного состава, в каждом конкретном случае насчитывались едва ли не с трудом, а вооружены и экипированы были кое-как — не всегда исправными трофейными винтовками с минимальным боезапасом. Попутно уточняется еще одно обстоятельство, отлившееся даже в некий миф: дескать, на российской территории погоду делали особо лютые инородческие батальоны полицейских — прибалтийские, украинские, татарские и т. д. Авторы показывают, что в этих батальонах, действительно считавшихся «инородческими», зачастую служили (а то и командовали ими) вполне русские люди, выдававшие себя, допустим, за украинцев или же просто жившие на территории соответствующих союзных республик.

Но интереснее и новее для нас, безусловно, собранная авторами информация о выполнении вспомогательной полицией второстепенных, с точки зрения немецкого командования, функций, то есть того круга задач, который и возлагается обычно на органы внутренних дел. Здесь, на первый взгляд, нет ничего необычного, но сама обычность эта для нас весьма непривычна: «В конце 1941 года городская полиция Орла... подразделялась на четыре отдела. Отдел „А“ (охранная полиция) курировал полицейские участки, обеспечивал несение службы в театре, при ремесленных производствах, следил за санитарным состоянием города и наблюдал за ценами на рынках. Отдел „Б“ (криминальная полиция) вел расследование уголовных и политиче-

ских преступлений. Отдел „В“ (паспортно-адресный стол) составлял списки жителей, выдавал временные удостоверения личности, свидетельства о поведении и паспорта, контролировал приезжих и иногородних. Отдел „Г“ занимался вопросами пожарной охраны».

А вот примеры выполнения этих функций: «...на Запольной улице в Смоленске произошел пожар, который был быстро ликвидирован дружной, умелой работой городской пожарной охраны... <...> В торжественной обстановке представители германского командования... выразили благодарность за отличную работу по ликвидации пожара и выдали всем бойцам охраны подарки. 8 августа приказом начальника города Смоленска пожарной охране была объявлена благодарность за успешную ликвидацию пожара в бывшем доме Советов»; «...в том же Ржеве многие люди занимались растаскиванием зерна из вагонов, оставшихся не отправленными в советский тыл после отступления Красной армии. Задание по выявлению этих лиц получила агент полиции Ольга Александровна Мейер. После проведенной ею работы городская полиция начала производить у подозреваемых обыски и изымать зерно. При этом часть похищенного зерна на полицейские присваивали себе, а часть сдавали в городскую управу. Собственно, изъятием похищенного все дело и закончилось. Не надо и говорить, что по другую сторону фронта за аналогичные деяния следовал, как правило, расстрел».

Авторы книги приводят мнение Н. А. Ломагина²⁵ о том, что уровень

25. Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. СПб.: Нева, 2004.

уголовной преступности на контролируемых этой полицией территориях резко упал по сравнению с советскими временами, притом что личный состав полиции был меньше прежнего милицейского, а делопроизводство было предельно упрощено. Это, разумеется, не доказательство, но сильный намек на большую эффективность этих органов в охране общественного порядка.

И напоследок самый интригующий пример — по сути, то, с чего я и начал: «...с 3 сентября по 11 октября 1941 года городской управой Старой Руссы частным лицам были проданы некоторые городские объекты, имеющие производственное значение (всего 36 строений на сумму 18 тыс. 400 рублей). Как выяснилось после проведенного полицией расследования, объекты передавались гражданам без осмотра и по явно заниженным расценкам. В результате злоупотреблений со стороны должностных лиц (городского головы Быкова, его за-

местителя Чурилова, заведомо снабжения Жуковского, инженеров Дробницкого и Захарова) некая госпожа Аксенова стала владелицей такого стратегически важного объекта, как электростанция, а господин Васильев получил гончарный завод. Следствие установило, что действительная стоимость этих объектов исчислялась в сумме 75 тыс. 400 рублей. По предъявлению полиции были признаны подлежащими аннулированию шесть сделок, 21 сделка была оставлена в силе как не поддающаяся проверке из-за уничтожения объектов, по семи сделкам предлагалось потребовать доплату у владельцев по действительной стоимости незаконно приобретенных объектов».

Выходит, приватизацию на оккупированной территории все-таки пытались провести. А если так, то по каким правилам? На основании каких нормативных актов? И что за люди покупали заводы и электростанции осенью 1941 года? Узнать бы об этом побольше.

Лев Усыскин

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Антон Олейник. Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» годов / Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2011. — 438 с.

СОЦИОЛОГ СРЕДИ ЭКОНОМИСТОВ,
ЭКОНОМИСТ СРЕДИ СОЦИОЛОГОВ

Антон Олейник является социологом и экономистом как с формальной, так и с содержательной точек зрения. Кандидат экономических наук, сотрудник факультета эко-

номики НИУ ВШЭ, в Канаде Олейник — доктор социологии и профессор кафедры социологии Университета Мемориал. Как экономист он стал известен в качестве автора од-

ного из первых в России учебников по институциональной экономике, как социолог — в качестве исследователя тюремных субкультур. В деловой прессе его также знают как публициста, равно увлекательно пишущего для «Ведомостей» и, например, для газеты «Киевская правда».

Такое положение автора имеет как положительные, так и неизбежные негативные эффекты для его новой книги о социально-экономическом господстве в России 2000-х. С одной стороны, выход за пределы одной научной дисциплины позволяет ему преодолевать тернии повседневного академического знания, выдвигая неожиданные идеи, гипотезы и оригинальные способы их верификации. С другой — в применении профессионального исследователя такой подход с неизбежностью порождает множество проблем, главная из которых — проблема читателя. Текст книги перегружен терминологией и концепциями, о которых читатель может узнать разве что на старших курсах университета, и то учаь на двух факультетах одновременно. В наши дни довольно сложно найти, например, экономиста, относительно свободно ориентирующегося в тонкостях социальных концепций власти М. Фуко и П. Бурдьё (у последнего Олейник, кроме прочего, заимствует методологию для эмпирической части своего исследования, пытаясь понять, как различные «социальные поля» взаимодействуют друг с другом в одном из российских регионов). Ничуть не проще отыскать социолога, который разбирался бы в модели поиска ренты Мёрфи–Шлейфера–Вишны или моделях социального капитала П. Дасгупты. И хотя в стремлении подготовить читателя автор пытается

начать издаека, делая подробные экскурсы в теорию, методологию и историю вопроса, для многих социологов и экономистов, не говоря уже про лиц других профессий, эта книга останется непонятой.

Любую междисциплинарную работу подстерегает и другая опасность — перекрестная критика. Так, например, экономисты по традиции не считают работу научной без многоэтажных математических выкладок, формальных моделей и их эмпирической проверки через сложные количественные оценки с использованием множественных регрессий, пробит- и логит-моделей и прочих изысков эконометрики. Пусть и не восьмиэтажные формулы в книге все равно присутствуют. Другое дело, что относятся они к не вполне традиционной технике количественного анализа качественных данных, полученных в ходе двух серий интервью с представителями государственных структур, бизнеса и экспертного сообщества. А попытки поиска корреляций между различными упоминаемыми респондентами словами по меркам статистического экономиста вообще являются делом неслыханным.

Правда, от некоторых обвинений в возможной ненаучности или неадекватности примененных методов с обеих сторон автора спасает то, что рецензентами книги выступили Александр Либман, один из флагманов сегодняшнего экономико-математического мейнстрима, и не менее авторитетный политический социолог Валерий Ледаев.

В любом случае на страницах книги читатель встретит данные об «источниках гордости и стыда в истории России» (306), о коэффициентах концентрации нефтяной промышленности, о конфигурации